

Посвящается инклингам*

* «Inklings» в переводе с английского означает «намек». Инклингами именовали себя Льюис и компания его друзей-писателей. Джон Р. Р. Толкин, входивший в этот круг, писал об этом так: «...оно (слово «инклинги») было веселым изобретением, каламбуром, взятым себе за название людьми, склонными к неопределенным намекам и туманным идеям, которые они выражали при помощи чернил». Каламбур заключался в том, что английское слово «ink» (чернила) входит в состав слова «inkling» (намек).

Сын Божий страдал до смерти не для того, чтобы мы не страдали, но для того, чтобы страдания наши стали такими, как у Него.

Джордж Макдональд.
Непроизнесенные проповеди

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда Эшли Сэмсон* предложил мне написать эту книгу, я попросил разрешения скрыть свое имя, так как мои призывы к мужеству насмешили бы тех, кто меня знает. М-р Сэмсон не согласился (в этой серии книг все пишут под своими именами), но посоветовал мне сообщить в предисловии, что я сам не придерживаюсь своих принципов. Это я и делаю. Одновременно признаюсь, что, говоря словами Уолтера Хилтона, в этой книге «я столь далек от того, о чем пишу, что могу лишь взывать к вашему милосердию»**. Вряд ли хоть один человек на свете лучше защищен от недооценки страдания, чем я. Добавлю, что единственная цель книги — разрешить интеллектуальную проблему, которую ставит перед нами страдание. Я не так глуп, чтобы учить других терпению и силе, и мне нечего предложить читателю, кроме убежденности в том, что, если страдание неизбежно, капля мужества поможет больше, чем реки знаний,

* Эшли Сэмсон — издатель, закававший Льюису «Страдание» для своей серии «Христианский зов». Сэмсон просил Льюиса, как новообращенного, только что написавшего христианскую аллегорическую повесть-притчу «Кружной путь, или Блуждания паломника», дать на этот раз христианскую интерпретацию страдания и боли. Льюис написал книгу меньше, чем за год.

** Школа совершенства, I, XVI.

капля жалости больше, чем реки мужества, а любовь Господня — больше всего.

Настоящий богослов легко увидит, что писал эту книгу богослов ненастоящий. Везде, кроме двух последних глав, где я намеренно предлагаю собственные гипотезы, я, насколько мне известно, просто пересказываю старые и ортодоксальные доктрины. А любое новшество, если оно есть, прокралось сюда помимо моей воли, по моему неведению. Я всячески пытался не сказать ничего, во что не верят все христиане.

Поскольку это не ученый труд, я не всегда даю сноски и пояснения к цитатам. Любой богослов поймет и так, как мало я читал и что именно.

Модлин-колледж, Оксфорд

1940

ГЛАВА 1

ВВОДНАЯ ГЛАВА

Ни один автор канонических книг не воспользовался природой для доказательства существования Бога.

Паскаль. Мысли

Если бы несколько лет назад, когда я еще был атеистом, меня спросили, почему я не верю в Бога, я ответил бы примерно так: «Посмотрите на мир, в котором мы живем. Почти весь он состоит из пустого, темного, невысказанно холодного пространства. В нем так мало небесных тел, и сами они так малы по сравнению с ним, что, даже будь они все населены счастливейшими существами, нелегко поверить, что сотворившая их сила имела в виду именно их счастье и жизнь. На самом же деле ученые считают, что планеты есть у очень немногих звезд (быть может, только у нашего Солнца), а в Солнечной системе населена, по видимому, одна Земля. И более того, миллионы лет жизни на ней не было. Да и что это за жизнь? Все формы ее существуют, уничтожая друг друга. В самом низу это приводит к смерти, но выше, когда включены чувства, это порождает особое явление — боль. На самом же верху, у человека, есть еще одно явление — разум; он может предвидеть боль, предвидеть смерть, а кроме того, способен измыслить гораздо больше боли для других. Способностью этой мы воспользовались на славу. Человеческая история

полна преступлений, войн, страданий и страха, а счастья в ней ровно столько, что, пока оно есть, мы мучительно боимся его потерять, когда же оно ушло — страдаем еще больше. Время от времени жизнь становится вроде бы лучше, создаются цивилизации. Но все они гибнут, да и при них принесенное ими облегчение вполне уравновешивается новыми видами страданий. Вряд ли кто-нибудь будет спорить, что в нашей цивилизации равновесие это достигается, и многие согласятся, что сама она исчезнет, как все прежние. А если не исчезнет, что с того? Мы все равно обречены, весь свет обречен, ибо, как говорит нам наука, Вселенная станет когда-нибудь единообразной, бесформенной и холодной. Все сюжеты кончатся ничем, и жизнь окажется на поверку лишь мимолетной, бессмысленной усмешкой на идиотском лице природы. Я не верю, что все это сотворил добрый и всемогущий дух. Или такого духа нет вообще, или он безразличен к добру и злу, или он просто зол».

Одно не приходило мне в голову: я не замечал, что сама сила и простота этих доводов ставит новую проблему. Если мир так плох, почему люди решили, что его создал мудрый Творец? Быть может, люди глупы — но не настолько же! Трудно представить себе, что, глядя на страшный цветок, мы сочтем благим его корень или, видя нелепый и ненужный предмет, решим, что создатель его умен и умел. Мир, известный нам по свидетельству чувств, не мог бы стать основанием веры; что-то другое должно было породить ее и питать.

Вы скажете, что предки наши были темны и считали природу лучшей, чем считаем ее мы, знакомые с успехами науки. И ошибетесь. Людям давно известно, как чудовищно велика и пуста Вселенная. Вы читали, наверное, что в Средние века Земля казалась людям плоской, а звезды — близкими; но это неправда. Птолемей давно сказал, что Земля — математическая точка по сравнению с расстоянием до звезд, а расстояние это в одной очень старинной книге определяется в сто семнадцать миллионов

мил. Да и раньше, с самого начала, другие, более явные вещи давали людям ощущение враждебной бесконечности. Для доисторического человека соседний лес был достаточно велик и так же чужд и зол, как чужды и злы для нас космические лучи или остывающие звезды. Боль, страдание и непрочность человеческой жизни всегда были известны людям. Наша вера возникла среди народа, зажатого между великими воинственными империями, подвергавшегося нашествиям, уводимого в плен, познавшего трагедию побежденных, как Армения или Польша. Нелепо считать, что страдание открыла наука. Отложите эту книгу и подумайте пять минут о том, что все великие религии возникли и много веков развивались в мире, где не было наркоза.

Словом, в любое время трудно было выводить мудрость и благость Творца из наблюдений над миром. Религия рождалась иначе. Сейчас я буду описывать *происхождение* веры, а не защищать ее самое — мне кажется, без этого нельзя поставить правильно вопрос о страдании.

Во всех развитых религиях мы обнаруживаем три элемента (в христианстве, как вы увидите, есть еще и четвертый). Первый из них — то самое, что профессор Отто называет «ощущением священного». Тем, кто не встречал этого термина, я его попытаюсь объяснить. Если вам скажут: «В соседней комнате — тигр», вы испугаетесь. Но если вам скажут, что в соседней комнате привидение, и вы поверите, вы испугаетесь иначе. Дело тут не в опасности — никто толком не знает, чем опасно привидение, — а в самом факте. Такой страх перед неведомым можно назвать ужасом или жутью. Здесь мы касаемся каких-то границ «священного». Теперь представьте себе, что вам скажут просто: «В соседней комнате — могучий дух». Страх, чувство опасности будут еще меньше, смущение — еще больше. Вы ощутите несоответствие между собой и этим духом и даже преклонение перед ним — то есть чувство, которое можно выразить словами Шекспира: «Мой дух подавлен

им». Вот это и есть благоговейный страх перед тем, что мы назвали «священным».

Нет сомнений, что человек с очень давних времен ощущал мир как вместилище всяческих духов. Вероятно, профессор Отто не совсем прав, и духи эти не сразу стали вызывать «священный страх». Доказать это нельзя, ибо язык не различает толком страх перед священным и страх перед опасностью — мы и сейчас говорим, что «боимся привидений» и «боимся повышения цен». Вполне возможно, что когда-то люди просто боялись духов, как тигров. Несомненно и другое: теперь, в наши дни, «ощущение священного» существует, и мы можем проследить его далеко в глубь веков.

Если мы не слишком горды, чтобы искать примеры в детской книжке, прочитаем отрывок из «Ветра в ивах», где Крыс и Крот подходят все ближе к Духу Острова. «Крыс, — чуть слышно прошептал Крот, — а ты не боишься?» — «Боюсь? — переспросил Крыс, и глазки его засияли несказанной любовью. — Ну что ты! А все-таки... ой, Крот, я так боюсь!»

Продвинувшись на век дальше, мы найдем примеры у Вордсворта в замечательном отрывке из первой книги «Прелюдии», где он описывает свои ощущения от прогулки, еще дальше — у Мэлори, где сэр Галахад «задрожал, ибо смертная его плоть коснулась невидимого». В начале нашей эры мы прочитаем в Откровении, что Иоанн Богослов пал к ногам Христа «как мертвый». В языческой поэзии мы найдем у Овидия строку о месте, где «numen inest»^{*}; а Вергилий описывает дворец Латина, который «рощей... был окружен и священным считался издревле». В греческом фрагменте, приписываемом Эсхилу, увидим слово о том, как море, земля и горы трепещут «под страшным оком своего господина». Продвинемся еще, и пророк Иезекииль скажет нам о небесных колесах, что «страшны были они» (Иез. 1:18), а Иаков,

^{*} Божество обитает (*лат.*).

вставши ото сна, воскликнет: «Страшно сие место!» (Быт. 28:17).

Мы не знаем, как далеко можно было бы еще продвигаться. Самые древние люди почти наверное верили в вещи, которые вызвали бы такое чувство у нас, — и только в этом смысле мы и вправе сказать, что «ощущение священного» старо как человечество. Но дело не в датах. Дело в том, что когда-то, на какой-то ступени ощущение это возникло, и укоренилось, и не ушло, несмотря на весь прогресс науки и цивилизации.

Ощущение, о котором мы говорим, не порождено воздействием видимого мира. Вы можете сказать, что для древнего человека, окруженного бесчисленными опасностями, вполне естественно было измыслить неведомое и «священное». В определенном смысле вы правы — и вот в каком: вы сами человек, как и он, и вам легко представить, что опасность и затерянность вызовут в вас такое чувство. Нет ни малейших оснований полагать, что у другого вида сознания мысль о ранах, боли или смерти приведет к такому ощущению.

Переходя от телесного страха к «страху и трепету», человек прыгает в бездну; он узнает то, что не может быть дано в физическом опыте и в логических выводах из него. Научные объяснения сами нуждаются в объяснении — скажем, антропологи выводят вышеназванное чувство из «страха перед мертвыми», не открывая нам, почему такие безобидные существа, как мертвые, вызывают страх. Мы же подчеркиваем, что ужас и жуть находятся в совсем других измерениях, чем страх перед опасностью. Никакое перечисление физических качеств не даст представления о красоте тому, кому она неведома, — так и тут: никакое перечисление опасностей не даст и малого представления о том особом чувстве, которое я пытаюсь описать. По-видимому, из него логически вытекают лишь две точки зрения: или это — болезнь нашей души, ничему объективно не соответствующая, но почему-то не исчезающая даже из таких полноценных душ, как души мыслителя, поэта

или святого; или же это — ощущение действительных, но внеприродных явлений, которое мы вправе назвать Откровением.

Однако «священное» не то же самое, что «доброе», и одержимый ужасом человек, предоставленный самому себе, может подумать, что оно «по ту сторону добра и зла». Тут мы переходим ко второму элементу веры. Все люди, о которых есть хотя бы малейшее свидетельство, признавали какую-то систему нравственных понятий — о чем-то могли сказать «я должен», о чем-то «нельзя». Этот элемент тоже не может быть прямо выведен из простых, видимых фактов. Одно дело «я хочу», или «меня заставляют», или «мне выгодно», или «я не смею», и совершенно другое — «я должен».

Как и в первом случае, ученые объясняют этот элемент тем, что само нуждается в объяснении, — скажем (как знаменитый отец психоанализа), неким доисторическим отцеубийством. Отцеубийство породило чувство вины лишь потому, что люди сочли его злом. Нравственность тоже прыжок через пропасть от всего того, что может быть дано в опыте. Однако, в отличие от «страха и трепета», она обладает еще одной важной чертой: нравственные системы различны (хотя и не настолько, как думают), но все они до единой предписывают правила поведения, которых сторонники их не выполняют. Не чужой кодекс, а свой собственный осуждает человека, и потому все люди живут в ощущении вины. Второй элемент религии — не просто осознание нравственного закона, но осознание закона, который мы приняли и не выполняем. Этого нельзя ни логически, ни как-либо иначе вывести из фактов опыта. Или это необъяснимая иллюзия, или — все то же откровение.

Нравственное чувство и «ощущение священного» так далеки друг от друга, что они способны очень долго существовать, не соприкасаясь. В язычестве сплошь и рядом почитание богов и споры философов никак между собой не связаны. Третий элемент религиозного развития возни-

кает тогда, когда человек их отождествляет, — тогда, когда божество, внушающее трепет, воспринимается и как страж нравственности. Быть может, и это кажется нам естественным. Действительно, людям это свойственно; но «само собой» это никак не разумеется. Мир, населенный божествами, ведет себя совсем не так, как велит нам нравственный кодекс, — он несправедлив, безразличен и жесток. Не объяснит ничего и предположение, что нам просто хочется так думать, — кто захочет, чтобы нравственный закон, и сам по себе нелегкий, был облечен загадочной властью «священного»? Без сомнения, этот прыжок — самый удивительный, и не случайно сделали его не все; вненравственная религия и внерелигиозная нравственность существовали всегда, существуют и теперь. Наверное, лишь один народ совершил его полностью; но великие личности всех стран и времен тоже совершали его на свой страх и риск, и лишь они спасались от непотребства и дикости вненравственной веры или холодного самодовольства чистой морали. Логика не побуждает нас к этому прыжку, но что-то иное влечет к нему, и даже в пантеизме или язычестве нет-нет да и проступит нравственный закон; даже сквозь стоицизм проглянет какое-то почтение к Богу.

Быть может, и это — безумие, сопринродное человеку и почему-то приносящее прекрасные плоды. Но если это — Откровение, то поистине в Аврааме благословились племена земные, ибо одни евреи смело и полностью отождествили то страшное, что живет на черных вершинах гор и в грозowych тучах, с Господом *праведным*, Который «любит правду» (Пс. 10:7).

Четвертый элемент появился позже. Среди евреев родился Человек, Который назвал Себя Сыном страшного и праведного Бога. Более того, Он сказал, что Он и этот Бог — одно. Претензия эта так ужасна, так нелепа и чудовищна, что на нее могут быть только две точки зрения: или этот человек был безумцем самого гнусного рода, или Он говорил чистую правду. Третьего не дано. Если другие свидетельства о Нем не дают вам склониться к первой точке